

ВИКТОР КОНЕЦКИЙ

МОРСКАЯ
СЕРИЯ

A large icebreaker ship, likely a Russian Arctic-class icebreaker, is shown sailing through a harbor filled with broken ice. The ship is dark-colored with a yellow superstructure and a prominent crane. In the background, other ships and industrial cranes are visible against a sunset sky with warm orange and yellow tones. The foreground shows a snowy, icy shoreline with a brick wall and a street lamp.

ЗАВТРАШНИЕ
ЗАБОТЫ

Виктор Викторович Конецкий

Завтрашние заботы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=139291

АСТ;

Аннотация

Современный прозаик, сценарист. Долгие годы Виктор Конецкий оставался профессиональным моряком. Будучи известным писателем, он, стоя на капитанском мостике, водил корабли по Северному морскому пути. Его герои – настоящие мужчины, бесстрашные «морские волки» – твердо отстаивают кодекс морской чести.

Содержание

Виктор Конецкий	4
Часть первая	5
– 1 —	5
– 2 —	19
– 3 —	34
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Виктор Конецкий

Завтрашние заботы

* * *

*Как мне жаль, что ты не слышишь,
Как веселый барабаник
Вдоль по улице проносит барабан...
Булат Окуджава*

Часть первая

— 1 —

Когда Глеб бывал дома, на берегу, и мать посылала его в булочную за хлебом, то потом всегда жалела, что не пошла сама. Булочная была совсем близко, но Глеб пропадал на полчаса, на час.

Он читал газеты. И не возвращался, пока не просматривал все те, что висели на стенках домов в их квартале. Глеб выписывал уйму газет, и дело кончилось тем, что мать тоже полюбила читать их. У нее к старости ослабли глаза, но она все равно подолгу простаивала у стендов на улице. Как сын.

Она надевала очки и стояла возле уличных газет. За воротник ей падали с карнизов ржавые капли, если была осень, или воротник засыпало снегом, если была зима. Но почему-то все самое интересное оказывалось именно в тех газетах, которых она не получала дома.

Домашние газеты мать Глеба читала по вечерам, уютно устроившись в кресле, с географическим атласом на коленях. Среди домашних были и французские «Юманите» и «Леттр Франсез». Раньше мать преподавала французский язык в школе, любила Францию и когда-то даже побывала в Париже. «Париж — мечта, а не город», — говорила она.

Мать никогда не упускала случая показать сыну, что она в курсе всех дел на земле и воде, что она не отстает от жизни, что она современная совсем, хотя и пожилая женщина. Глеб являлся ненадолго домой; они сидели, обедали и говорили про житейское, будничное, и вдруг мать спрашивала:

– Скажи, пожалуйста, а почему, если Швейцария не имеет выхода к морю, она все-таки принимала участие в конференции по спасанию человеческих жизней на море? Зачем это ей нужно?

– Это ее, Швейцарии, личное дело, – туманно объяснял Глеб. Ему бывало скучновато объяснять такие очевидные и ясные для него самого вещи.

– А еще я хотела спросить... Вот у Русанова, ну который Новую Землю открыл, у него жену звали Жюльетта. Она что, была француженка?

– Ага. Русанов подцепил ее, когда околачивался в Париже. Но он не открывал Новой Земли, он ее только исследовал... Он погиб вместе с этой Жюльеттой. Все ясно?

– Не говори «подцепил» – это же нехорошо... И потом, тебе тоже давно пора жениться.

– Что у нас на второе?

Глеб не любил разговоров о своей женитьбе. И поэтому мать думала, что ее сын очень чистый человек, робкий мужчина и сегодняшние девушки слишком грубы и неженственны для него. И что его опутает какая-нибудь разбитная официантка из портовой столовой, и это будет ужасно.

Вообще у матери хватало волнений из-за сына. Каждая газета чем-нибудь настораживала и тревожила. То опять в мире начиналась стрельба, то извергались вулканы и сталкивались пароходы, а климат только и делал, что холодал и менялся. С климатом происходили ужасные вещи, от него пахивало Библией.

Однажды, когда Глеб уехал в Петрозаводск на какое-то судно, мать увидела на стенде «Известий» большую статью, которая называлась «Малютки идут через океан». Мать надела очки и стала читать. Было раннее лето, теплый день, и ничего на нее не капало, только очень слепило, отражаясь от бумаги, солнце.

«Если посмотреть на эти крохотные суденышки, длиной всего в шестнадцать и шириной в пять метров, а затем взглянуть на карту, – читала мать Глеба, – то сперва даже не верится, что такие малютки пойдут Северным Ледовитым океаном в большой и трудный путь – более десяти тысяч километров, но все по плечу советским морякам. И хотя двигатели малых рыболовных сейнеров имеют всего 80 лошадиных сил...»

Здесь мать на секунду зажмурилась и представила себе восемьдесят лошадей, ломовых мохнатых лошадей, запряженных цугом. И подумала, что это не так уж мало получается. Во всяком случае – длинно. Но когда она стала читать дальше и узнала, что эти суденышки сейчас находятся в Петрозаводске, она встревожилась. Она поняла, что все это связа-

но с ее Глебом.

Мать заторопилась к газетному киоску, чтобы купить «Известия» за 23 июня 1955 года. Она шла, забыв снять очки. Это были очки для чтения. На улице в них было плохо видно. Мать наталкивалась на прохожих. Ей было тревожно. Эта Арктика! Там погиб Русанов, который «подцепил» в Париже Жюльетту... И хотя Глеб уже много раз плавал в Арктике и много раз говорил, что теперь все там по-другому, мать чувствовала, как начинает пухнуть сердце в груди. Оно пухло у нее, правда, всегда, даже если Глеб уезжал в Сочи отдыхать. Мало ли что говорит Глеб! Он все всегда говорит ей наоборот...

В детстве сын был такой глубокомысленный, он все читал книжки, даже в бомбоубежище под бомбежкой; другие мальчишки дразнили его «гогой», а он все равно никогда не играл в футбол и не бегал по крышам. Он был удивительно глубокомысленный! Просто удивительно... И надо было направить его по гуманитарной линии. А Глеб взял да и поступил в школу юнг. Тогда еще шла война и сын все время хотел есть. И ей пришлось написать короткую справку: «Я, Вольнова Мария Федоровна, не возражаю против зачисления сына моего Глеба Вольнова в школу юнг при Первом Балтийском флотском экипаже». Она больше не могла видеть, что сын с самой блокады все хочет есть. Вот она и написала эту справку: моряков всегда кормят хорошо.

Мария Федоровна провожала сына до проходной Экипа-

жа. Была уже осень. С корявых тополей штопорили в черную воду Мойки последние листья. Каждую весну (в мирное время, конечно) тополя подстригали, хрупкие ветки с липкими почками топорщились на мокром граните набережной. И Мария Федоровна всегда весной приносила домой холодные ветки и ставила их в банку. Однажды маленький Глеб опрокинул банку, смола с тополиных почек испачкала белую стенку, а Глеб еще обвел пятна химическим карандашом. Мария Федоровна спросила, зачем он это сделал. Глеб ответил, что так пятна красивее. Она попросила больше никогда так не делать. Он заявил, что будет делать и впредь. У Глеба случались иногда приступы совершенно ослиного упрямства. Пришлось надрать ему уши...

В проходной Балтийского флотского экипажа была устроена вертушка. Она пропускала моряков только в одну сторону – туда, внутрь. Сына принял под расписку пожилой и высокий мичман. Уже поворачиваясь к вертушке, Глеб буркнул:

– Ты только не плачь, мать.

Он первый раз назвал ее так.

Глеб еще помахал рукой тогда. Потом она увидела, как сын закинул подальше за спину вещевой мешок. Он нес мешок на одном плече. Зеленые парусиновые сапоги, галифе и короткое полупальто на Глебе были отцовские. И когда Глеб сказал: «Ты только не плачь, мать» – и нахмурился, то очень стал похож на отца. А губы у него были совсем еще детские.

И шея тоже. И на пальцах – заусенцы. И что тогда у него было взрослое? Разве только грудная клетка. А веснушки – и на лбу, и на щеках... Теперь у него не заметно веснушек...

Проводив Глеба, Мария Федоровна, конечно, заплакала. Шла домой по гранитной набережной Мойки, часто оборачивалась на мрачное, еще петровских времен, здание Экипажа и плакала, молясь про себя: «Господи Боже! И ты, Никола Чудотворец Морской, помогите сыну моему Глебу, и пускай он не повторит судьбы своего отца...»

Отца Глеба убило снарядом, когда он копал противотанковый ров под Ленинградом.

Мария Федоровна вспоминала мужа и сына и молилась Николе Морскому, а Глебу в этот момент машинкой выкашивали вихры на голове. Машинка дергала: матрос-парикмахер торопился на увольнение в город. Неопределенного цвета волосы Глеба падали на серую простыню.

Глеб начинал свой путь на морские просторы стриженным «под ноль».

Когда мать первый раз увидела его остриженным, то ужаснулась. Сын был такой некрасивый, череп у него оказался неровный и очень бледный, уши торчали, как плавники у окуня, и были такие же красные. Мария Федоровна утешала себя только тем, что в мужчине главное не красота, а ум и воля.

То, что Глеб неглуп, она знала точно. Насчет воли – сомневалась. И тогда она стала просить Николу Морского, что-

бы командир роты у Глеба оказался хорошим, волевым командиром и чтобы он воспитал в ее сыне побольше воли.

Глеба сразу отправили куда-то из Ленинграда, и он писал в письмах, что живут они на корабле; он всем-всем доволен, и их очень, очень хорошо кормят: он даже не доедает супа... Глеб все всегда писал ей наоборот.

Мария Федоровна складывала письма Глеба в стопку, по вечерам перечитывала их и качала головой, когда находила грамматические ошибки. На конвертах не было марок, и поэтому конверты глядели слепо, на них только чернели треугольники штампов: «матросское – бесплатно». И, глядя на это «матросское», Мария Федоровна все не могла осознать до конца, что ее сын делается матросом и в данный момент стоит на часах где-нибудь возле якоря, а вокруг него – буря и бьют склянки. Он был такой мечтательный в детстве, хотя и упрямый. И ей хотелось, чтобы он пошел по стопам отца и стал исследователем культур древних народов. Ей хотелось для Глеба чего-нибудь красивого и академического. Если б не война, не Гитлер!

Но ее мечты все-таки чуть было не осуществились, потому что в матросах Глеб закончил десятый класс и после демобилизации поступил в университет на философский факультет. Он ходил слушать лекции в огромных клешах и с флотской фуражкой на затылке. На руке Глеба синел якорь, передний зуб был сломан. Мать все не могла уговорить Глеба поставить коронку. «Зачем она мне?» – спрашивал Глеб.

Он совсем перестал быть глубокомысленным...

Читал Глеб по-прежнему много, но бессистемно и насквозь прокурил комнату махоркой. Через год он бросил философию и ушел плавать боцманом на буксир в Северо-Западное речное пароходство.

– Абстрактная логика и древние греки, диамат – превосходные вещи, – сказал Глеб. – Но я еще не созрел для них. Мне надо дозревать. Я – поздний овощ, мать. Мне смертельно скучно и тошно в университете. Зачем ходить на лекции, если можно и самому читать книги? Я лучше буду таскать баржи по Свири. В этом деле тоже нужна определенная философия. И ты только не плачь, мать...

Потом он бросил Речное пароходство и один раз съездил в Бухару с археологической экспедицией коллектором. Вернувшись из Средней Азии, Глеб на год осел в Ленинграде и закончил какие-то курсы штурманов малого плавания. С тех пор он плавал и очень редко бывал дома.

Мария Федоровна давно не работала: новая завуч дала ей только шесть часов в неделю, пришлось обидеться и уйти на пенсию. Ей было одиноко одной. Чувство одиночества обострялось после коротких побывок сына.

Каждый раз ожидание неизбежной разлуки отравляло свидание еще в самом начале: Мария Федоровна боялась, что это свидание – последнее, что она, конечно, умрет, когда сын будет далеко от нее. Она не могла скрыть этот свой страх, а может, и не хотела скрывать, все просила Глеба за-

держаться еще на денек, причитала у него на груди, не понимая, что, задерживая, уговаривая, плача, заставляет сына мучиться и в минуты прощания, и долгие месяцы потом. Иногда ей становилось совестно, но она ничего не могла с собой поделать.

«Наверное, ни одна женщина не сможет привыкнуть к одиночеству до конца, – думала Мария Федоровна. – Так же, как обыкновенные женщины моего поколения никогда не смогут научиться управлять приемником...»

Приемник или шипел, или орал, или едва слышно рассказывал про сельское хозяйство. Мария Федоровна не умела с ним ладить. У нее не было привычки к технике.

Иногда из приемника доносился писк морзянки и какие-то странные, несомненно космические завывания. Мария Федоровна замирала и слушала. Ей казалось, что сын все время живет в таком вот гулком пронзительно-тревожном мире и что она может сейчас вдруг услышать его голос среди всей этой эфирной неразберихи...

Приемник мигал зеленым злым глазом и даже подрагивал от злости. Мать Глеба сидела рядом и думала о прошлом, о муже и о том, почему, когда они, матери, думают о своих детях, то чаще всего вспоминают их маленькими, хотя давно уже годятся в воспоминания и юность, и молодость, и даже, быть может, зрелость этих детей.

Она не знала, почему так случается, но обыкновенно вспоминала, как шагал из школы маленький Глеб по гранит-

ным плитам набережной Мойки и старался каждый шаг попасть ногой обязательно на следующую плиту. Иногда он даже прыгал для этого, потому что плиты на набережной Мойки разного размера, иногда же мелко-мелко семенил ногами. Он, наверное, что-то загадывал... А она смотрела на сына из окна четвертого этажа и была уверена, что он опять получил двойку по пению. В те времена всех учили петь и даже ставили за это двойки, а Глебу медведь на ухо наступил. Получив двойку по пению, Глеб чувствовал себя виновато и поэтому не мог шагать по-человечески, как ходят все нормальные дети... Да, а теперь он большой, и он поплывет через весь Ледовитый океан, чтобы рыбаки Камчатки и Приморья могли ловить с этих маленьких сейнеров горбушу и других вкусных лососевых рыб.

...Отправился в Петрозаводск Глеб неожиданно. Он не собирался этой весной никуда уезжать. Зимой, вернувшись из последнего рейса, сын сказал:

– Баста, мать. Надоело на перегонах. Платят мало, работа адская... Ну ее к черту, пора еще что-нибудь предпринять в моей биографии.

– А что такое перегон?

Глеб усмехнулся, выпятил нижнюю губу, щелкнул по ней пальцем, сказал:

– Перегон – это чаще всего караванное плавание. Катится по морю целая гоп-компания разных судов. Единственная задача – пройти из пункта А в пункт Б. Все. Как в четвертом

классе. Ни груза в трюмах, ни других каких задач... Ясно?

– Не понимаю, почему ты раньше этим занимался, если это тебе не нравится, Глеб? У тебя нет в жизни сюжета... Ты все мечешься...

Сын засмеялся и опять щелкнул себя по губе.

– Не щелкай так, это неприлично, ты не маленький, тебе уже тридцать лет, – сказала Мария Федоровна.

– Вот я и решил, что пора сочинить себе сюжет, – сказал Глеб. – Радуйся, мать! Два годика я буду, очевидно, околачиваться на берегу, дома. Надо учиться в мореходке. Надо высшее образование получить. В наши времена без высшего образования ни на один приличный пароход не пускают штурманов.

И Он на самом деле начал сдавать экзамены на курсы при Высшем мореходном училище.

Наступил странный период мирной и спокойной жизни, когда каждую ночь мать слышала за шкафами дыхание сына, который никуда не собирался уезжать. Она просыпалась ночью много раз, но мысли о смерти, которой она боялась, не тревожили ее в ночные часы бессонницы. Она думала об обеде, который будет готовить завтра, о неизвестной женщине, которая вчера спросила Глеба по телефону, о билетах в кино, которые сын обещал купить, и о том, что он обещал сходить в кино с ней вместе.

А утром Глеб делал зарядку – и надо было бояться, чтобы он не очень шумел и не тревожил соседей. Все было как в

порядочных семьях.

И вот однажды пришел пожилой толстый человек. Он пришел к Глебу, а Глеба не было дома.

– Битов, Григорий Арсеньевич, – представился он. И сел, растопылив колени градусов на сто двадцать. Его животу иначе не было куда опуститься. На нижней губе Битова приклеилась разжеванная сигарета. Потом он положил эту сигарету в цветочный горшок, и Мария Федоровна решила, что он совсем не интеллигентный. И еще ей почему-то сразу стало опасно, тревожно.

– Вы работали вместе с Глебом Ивановичем? – робко спросила она.

– Нет, – сказал Битов. – Мой сын служил вместе с вашим.

– Может, попьете чайку, пока Глеб вернется?

– Чай есть чай, – сказал, подумав, Битов. – Но я сейчас не хочу. Спасибо. А вы моего сына не знали? Сашку не знали?

И тогда она вспомнила белобрысого парнишку с широко открытыми голубыми глазами, который несколько раз бывал у них вместе с Глебом, когда Глеб еще не закончил школу юнг.

– Как же, как же, помню. Очень симпатичный молодой человек... Они с Глебушкой все вместе книжки читали... Где он теперь у вас? – спросила Мария Федоровна.

Старик закричал и потер лысину.

– Помер. Геройски, можно сказать, погиб на боевом посту, – сказал он потом. – Неужто вам Глеб Иваныч и не рас-

сказывал ничего?

– Он никогда ничего не рассказывает, – с горечью сказала мать Глеба.

– Так они ж вместе на одном тральщике служили, – сказал старик. – Вместе и подорвались весной сорок пятого на донной mine.

– Как подорвались?! – спросила мать Глеба, чувствуя, как холодеет у нее кожа на голове.

– Обыкновенно, – сказал старик.

– Ужас какой! – сказала Мария Федоровна.

– Н-да.

– Столько лет, а он все молчит!

Когда вернулся Глеб, они со стариком обнялись и поцеловались, как друзья. О чем они говорили, мать не узнала, потому что сын попросил ее приготовить что-нибудь закусить, и повкуснее.

А через неделю Глеб плюнул на экзамены и отправился в Петрозаводск на новый перегон. По своему обыкновению, ничего толком он не объяснил.

– У Сашкиного старика дела швах, – сказал Глеб, уже надевая шинель. – Его плавать по нездоровью и старости больше не пускают, а сам он моряк, механик. Никто его не возьмет, кроме меня. А как вернусь из этого рейса, тогда уж точно останусь дома надолго. Ты только не плачь, мать.

– Только возвращайся побыстрее; пожалуйста, побыстрее, – попросила мать. И ей показалось, что сын рад предло-

гу опять умчаться куда-то. И это было обидно.

Трюм сейнера был маленький, тесный. Здесь густо пахло свежей еще краской, олифой, суриком, новой кирзой сапог, пеньковым тросом. За тонким бортом плескала вода. Когда недалеко проходило какое-нибудь судно, вода за бортом плескала сильнее, скрипели между бортом и причалом кранцы. Облака на далеком небе в четырехугольнике люка покачивались, и у края люка появлялась встревоженная морда корабельного приبلудного пса Айка, названного так то ли в честь президента Эйзенхауэра, то ли потому, что пес часто скулил что-то вроде: «Айяйуй».

Айк имел нрав веселый, туловище поджарое, даже тощее, и был очень легок на ноги. Сейчас Айк скучал, сидя в полном одиночестве на палубе, и проходящие невдалеке суда пугали его.

Заметив рыжую острую морду пса, Вольнов неизменно подбадривал его, говоря:

— Спокойно, Айк!

Вольнов и боцман проверяли в трюме снабжение.

— Мешки хлорвиниловые?

— Сто штук.

— Мешки джутовые?

— Сто. Их по десять на судно, товарищ капитан?

— Да, черт бы их побрал... Кальсоны теплые? Считай пря-

мо пачками... И у меня имя есть: Глеб Иванович.

– А где они, кальсоны?

– Кажется, в простыне завязаны были... Посмотри под спасательными поясами...

– Здесь. Десять пачек... Их теперь, пожалуй, и в настоящей прачечной не отстираешь...

– Флаги национальные?

– Девятнадцать, товарищ капитан.

– Как девятнадцать? Их по две штуки на каждое судно должно быть.

– Здесь больше нет... А чего они большие такие? Будут у нас ниже борта болтаться, да?

– Ты не разговаривай, боцман, а ищи.

– Здесь только колпаки поварские... наматрасники... Нет флагов больше, товарищ капитан!

– Черт! Посмотри их цену в реестре.

– Есть... флаги... три тысячи семьсот четыре рубля девятноста копеек...

– Меня сейчас кондрашка хватит, Боб!.. Дай сюда реестр! Флаги национальные – шестьдесят один рубль пятьдесят копеек, а ты стоимость комплекта международного свода сигналов смотрел. В следующий раз держи глаза в руках, понял?

– Понял... И как только вы в одиночку смогли все это принять и погрузить?

– Сам удивляюсь.

– Душно, товарищ капитан, здесь... Разрешите, я еще од-

ну лючину отодвину?

Вольнов не ответил. Ему вдруг захотелось бросить всю эту грудку неразобранной, плюнуть и уйти в город, в Петрозаводский городской сад, и посидеть там на зеленой скамейке под пыльной листвой, послушать песенки с танцплощадки или почитать газеты в читальном павильоне.

Боцман, утопая сапогами в грудках ватных подушек, пробрался по трюму к комингсу, одной рукой поднял и отодвинул тяжелую лючину. Стало светлее. На потной, мускулистой спине боцмана заблестели капли пота.

Боцман шумно подышал в люк, вернулся, присел на корточки возле Вольнова и спросил:

– Воскресенье сегодня, да, товарищ капитан?

– Это точно.

Рябое, как луна в телескопе, лицо боцмана засветилось надеждой.

– Не сияй, Боб Степанович, – сказал Вольнов. – Все воскресенья до самой Камчатки будут теперь для нас понедельниками.

– Есть, – сказал боцман. И потух.

– Рукавицы с кожаными наладонниками?

И все пошло по-старому. Вольнов смотрел в ведомость и ставил птички возле наименований предметов, а боцман лазал по загроможденному до самой палубы трюму, отыскивал и считал вещи.

Часам к пяти вечера они закончили проверять снабжение.

Не хватало, кроме флага, пары резиновых сапог, трех полотенец и десятка брезентовых рукавиц. Вольнов обозлился. Флагманский капитан заставил его принять снабжение на десять судов отряда, потому что на эти суда еще не прибыли команды, а склады отказывались хранить имущество. И все это барахло навалили без всякого разбора ему в трюм. И кладовщики, конечно, обжулили его рублей на шестьсот. Вольнов даже не ругался. Он тихо сидел на ящике с мылом и время от времени повторял:

– Ищи, боцман, резиновые сапоги!.. Ищи, боцман-мат, рукавицы!.. Вперед на запад. Боб!.. Не могли же они меня так надуть... Я, конечно, хреновый интендант, но...

Боцман деловито сопел и копал в разных углах трюма шурфы.

«Он похож на собаку, – думал Вольнов. – Только совсем другую, нежели Айк. На коротконогую собаку с длинными ушами. Есть такие лохматые добродушные собаки, которых можно за хвост таскать сколько душе угодно. Они обожают выкапывать мышей из нор... Они упрямы и честны, но малость незадачливы. А вообще он славный парень...»

– Боб, – сказал Вольнов. – Хватит искать. Давай-ка вылезем и покурим.

Боцман сразу же перестал рыться в грудe спасательных кругов, вытер со лба пот и сказал:

– И вот здесь, в этом трюме, когда-нибудь будет биться рыба, да?

– Да, – сказал Вольнов, – обязательно. Они вылезли на палубу сейнера, и Айк облобызал им сапоги.

Вечерело. Небо вспухло и посерело. Пахло сыростью, и это было приятно после духоты трюма. Вдоль причалов судостроительной верфи покачивались десятки других таких же маленьких сейнеров. Похожих друг на друга, как бывают похожи только близнецы. Скрытый мысами Петрозаводск ничем не выказывал своего присутствия. На востоке, над Онежским озером, повисла мутная завеса дождя. Завеса приближалась. Перед ней спешил ветер, рябил воду. Из трубы лесопильной фабрики дым шел вниз, а не вверх и окутывал хилые елки на холмах. С другой стороны причала, у входа в ковш судоверфи, торчали из воды останки деревянной баржи, похожие на старинную варяжскую ладью.

– Наши идут, товарищ капитан, – сказал боцман.

По причалу шли трое матросов с мешками на плечах. Позади них катился механик. Он нес какие-то шланги. А матросы тащили продукты. И все они торопились, поглядывая в сторону озера, в сторону приближающегося дождя.

– Называй меня Глебом Ивановичем, – сказал Вольнов. – И закрывай трюм. Намочит сейчас все дождем.

– Есть, Глеб Иванович, – послушно сказал боцман.

– Сосиски, сардельки, печенки и маленькие собачонки, – сказал Вольнов без улыбки. И боцман, и матросы были еще очень молоды. Они всего второй раз собирались идти в море. Они были курсантами средней мореходки, должны были

набирать плавательный ценз и практиковаться на этом перегоне. И вот с ними предстояло идти через всю Арктику на Камчатку.

– Вы думаете, они сосиски и сардельки получали? – спросил боцман с наивной радостью.

Теперь Вольнов засмеялся.

– Сплошь печенки и маленькие собачонки, – повторил он. – Сплошь.

Боцман затягивал трюмный люк брезентом. Айк кусал его за штаны и мешал работать.

– Положи под брезент весло, – сказал Вольнов. – Тогда вода не будет скапливаться в провисе. Она будет скатываться, как с палатки. Все ясно?

– Ага, – сказал боцман.

«Из этого парня выйдет толк, – подумал Вольнов. – Он очень хочет стать настоящим моряком, и он им станет, даже если ему никто не будет помогать, потому что Боб умеет хотеть. Самое трудное в жизни – уметь чего-нибудь по-настоящему хотеть... Чекулин тоже станет хорошим моряком... А вот Корпускул – это вопрос. До чего же точно ребята умеют давать прозвища... „Корпускул есть Корпускул“, как сказал бы механик. И больше ничего не надо прибавлять. Он станет моряком, только если капитаны позаботятся об этом и не побоятся утруждать себя беспощадностью. Да, именно утруждать, потому что это совсем не легко и не просто быть беспощадным».

Вольнов смотрел на матросов. Первым шагал Чекулин – здоровый, с румянцем во всю щеку, мягкий, но физически сильный парень. Чувствовалось, что он вырос в дружной семье и любит родителей. Как-то по-особенному пахнет от тех юношей, которые жили с хорошей мамой и хорошим папой и хорошей младшей сестренкой. Такие парни любят писать письма и легко, без натуги их отправляют. Они не носят конверты с собой по две недели и не завязывают узелков на платке, чтобы не забыть их отправить.

– Боб, у Чекулина сестренка есть? – спросил Вольнов.

– Да, а вы откуда знаете? – сказал боцман. – Она этой зимой корью болела.

– Я, брат, все знаю, – сказал Вольнов.

За Чекулиным, низко согнувшись под тяжестью мешка, шагал Корпускул. Фамилия его была Емельянов, но никто так его не называл. Он был бледный, не курил и больше всего на свете любил спать. «Скучный тип, как сплошной забор», – сказал о нем однажды боцман. Боцман сказал это прямо в лицо Емельянову, – но тот даже не отмахнулся. Наплевать ему было на то, что он скучный.

– Пойду им навстречу, – сказал боцман. – У Корпускула, видно, мешок сильно тяжелый.

Он накинул ватник на голые плечи и полез на причал.

– Механику помогите, – сказал вдогонку Вольнов.

Даже отсюда, издалека, было видно, что старик не может поспеть за матросами, хотя и старается изо всех сил. Вольнов

отвернулся, ему тяжело было это видеть.

С озера, фырча дизелем, нацеливался в ворота ковша незнакомый сейнер. Ветер догнал его, вывернул и рванул флаг на гафеле. Сейнер еще чаще застучал двигателем.

– Черт! – сказал Вольнов. – Откуда он и кто там капитан?

Сейнер бежал почти вплотную возле затонувшей баржи. Варяжский форштевень баржи можно было достать с его борта рукой.

Вольнов устроился поудобнее под навесом шлюпочного чехла и принялся наблюдать за незнакомым сейнером, поглаживая от хвоста к голове Айка. Вольнов был уверен, что сейчас произойдет что-нибудь интересное. Нельзя на таком ходу влетать в этот ковш. Из-за угла причала не видны камни и буй возле них. Как только сейнер вырвется из горла ковша, ему придется давать самый полный назад, корму судна забросить влево, потому что винт у него правого шага. Да еще ветер навалыйный будет, когда шквал подоспеет...

Все затихло вокруг, ожидая дождя. И стал слышен далекий зуд электропилы на фабрике. Берег был пустынным. И суда вдоль причалов стояли очень молчаливые какие-то, пустынные. То ли команды поуходили в город, то ли на судах ужинали. Первые капли дождя горохом посыпались на трюмный брезент. И в такт им четко и дробно простучали по доскам причала сапоги матросов. Матросы по одному прыгивали вниз. И под Вольновым мягко заколебалась палуба.

– Пацан прыгнет, а пароход уже на борт ложится, – про-

бурчал Вольнов себе под нос. – Хороший пароход, прямо авианосец...

Ветер ударил сильным и холодным порывом. Из-за угла причала вынесся незнакомый сейнер. Вольнов только теперь разобрал его бортовой номер: «МРС-7».

– Подвинься, капитан, – сказал механик, поспешно опускаясь рядом с Вольновым. От механика потянуло запахом пота и мазута. Старик тяжело дышал, но на его губе, как всегда, висела разжеванная сигарета. Две пуговицы на поясе брюк расстегнулись, торчал клок синей рубахи.

– Сейчас он даст полный назад и завертится, как селедка на сковородке, – прохрипел механик, кивая на «МРС-7».

– Абсолютно точно, Григорий Арсеньевич, – мягко и одобчительно сказал Вольнов. – Я этого и жду.

Вольнов видел старика насквозь. И старик, наверное, знал об этом, но все равно часто говорил то, чего не следовало говорить. Сейчас он хотел показать, что все отлично понимает в сложностях морской жизни, что он во всем по-прежнему разбирается, что он честно сдал экзамены по техминимуму, что он не подведет Глеба там, впереди, во льдах.

Дождь пошел сильнее. Ровный шум разбивающихся о воду брызг приглушил стук двигателя на «Седьмом». Кто-то очень длинный и сутулый стоял на его верхнем мостике и крутил штурвал.

– У меня клык качается, – сказал механик и сплюнул сигарету за борт. – Качается, понимаешь, капитан, у меня зуб.

Туды его в качель.

– Один момент, – сказал Вольнов. – Мне кажется, у них не в порядке рулевое управление.

«Седьмой» все-таки развернулся и теперь шел почти под прямым углом к причалу. Длинный человек на его мостике отчаянно крутил штурвал.

– Судя по всему, он хотел швартоваться к нам. И все еще хочет, – сказал механик, шепелявя, потому что одновременно раскачивал свой клык указательным пальцем.

– Боцман! – крикнул Вольнов. – Кранцы на правый борт! Ему ответил только шум дождя, ветра и тревожный лай Айка. Очевидно, боцман и матросы уже спустились в кубрик и не слышали.

«Седьмой» приближался.

– Да. Конечно. У него не в порядке рулевое управление, – сказал механик. Он уже забыл про свой клык и сидел, стиснув толстые, широко расставленные колени черными крепкими пальцами. На палубе «Седьмого» суетились люди. Вольнов выскочил под дождь, вжав голову в плечи, и подхватил тяжелую автомобильную покрышку, которая служила вместо кранца.

– Осторожней, Глеб! – крикнул механик запоздало.

Вольнов совсем близко увидел сварочные швы на борту «МРС-7». И на миг стало жутко – так стремительно и неумолимо надвигался и вырастал этот чужой борт. Но Глеб все-таки шагнул ему навстречу со скользким кругом покрышки

в руках. Он швырнул тяжелую резину в узкую щель между бортов и отскочил.

...Короткий гулкий удар, заелозившая под ногами палуба, стеклянный звук лопающихся леерных стоек и – совсем рядом – незнакомые лица матросов на палубе «Седьмого».

– Приехали! – сказал длинный на мостике «Седьмого» и вдруг засмеялся, откинув назад голову без фуражки, с мокрыми, налипшими на лоб волосами.

Вольнов зло и монотонно сыпал на длинного грубые слова.

– Хватит латыни, – сказал длинный, продолжая смеяться.

– Заткнись! – заорал Вольнов.

Механик деловито и невозмутимо осматривал повреждения, его руки мягко ощупывали рваную сталь стоек, мерили стрелу прогиба у вмятины, похлопывали по закрутившемуся от удара стальному поясу на привальном брус. Механик бормотал свое неизменное: «Руль есть руль... Да, без рулевого управления худо... Руль есть руль...» Рядом топтались матросы, покачивали головами с видом бывалых знатоков аварий, переругивались с матросами «Седьмого», подражая своему капитану.

И всех их сек и сек холодный дождь. Он пузырился на воде, и вода побелела, взъерошилась, шквальный ветер прогонял по ней короткие судороги.

Длинный слез с мостика, подошел к Вольнову и сказал:

– Больше не шуми на меня, а? – и опять захохотал. И под-

нял воротник своего заграничного морского плаща с погончиками.

– Акт! – сказал Вольнов.

– Всегда готов! – сказал длинный, как пионер на линейке. – Только пойдем под крышу, я боюсь бронхит заработать... Эй, старпом! Привяжи покрепче веревку к причалу! Занеси носовой швартов во-о-он на тот пал, понял?

– Есть! – четко сказал старпом длинному и сразу принял-ся раскручивать вертушку с тросом. И по тому, как все четко и быстро делалось на палубе «Седьмого», было ясно, что капитан здесь умеет не только шутить и называть трос «веревкой»...

Они спустились в кубрик и сели за стол. Вольнов вытер намокшие волосы полотенцем. Пришел механик, нацепил очки в железной оправе и уселся сочинять акт.

Длинный молчал и больше не смеялся.

Вольнов тоже молчал и стучал по столу пальцами.

Потом, головой вниз, кособоча зад и повизгивая от неудобства, спустился по трапу рыжий и мокрый Айк.

– Как звать этого кабысдоха? – спросил длинный.

– Айк, – сказал Вольнов сквозь зубы.

– А тебя как? – спросил длинный.

– Вольнов.

– Слушай, Вольнов, а чего ты такой небритый? У тебя же борода с рыжинкой, а это некрасиво... Небритость подходит только твоему Айку.

– Слушай, ты, как там тебя, – сказал Вольнов. – Какое, собственно, тебе дело до моей бороды?

– Ни-ка-кого! – раздельно сказал длинный и опять засмеялся. – А свое судно я еще не принял с завода и долбанул тебя только потому, что соединительная скоба на штуртросе застряла в какой-то щели под рубкой и руль стал ходить только по семь градусов на борт.

– А зачем на таком ходу ты в ковш полез?

Длинный оживился, отобрал у стармеха карандаш, искал глазами бумагу, не нашел ничего, кроме акта, перевернул его и стал набрасывать схему. Механик даже в затылке почесал от такого нахальства.

– Вот, видишь... Ветер был с зюйд-веста, и шел сильный шквал... Он выбрасывал судно на ребра затонувшей баржи...

– И тогда ты дал самый полный вперед? – Да.

Это было красиво, но рискованно: за полный ход можно было сесть в тюрьму, а за выброс на баржу отвечал бы завод.

Длинный перевернул бумажку с актом и, не читая, подписал его: «Капитан „МРС-7“, капитан дальнего плавания Яков Левин».

– Так вот, Вольнов. Ты не злился, у меня не было другого выхода, чтобы спасти суденышко.

А Вольнов уже не злился. Чего нервы портить, если акт уже подписан.

– Но почему вы хохотали, я понять не могу, – сказал

Вольнов. Звание «капитана дальнего плавания» произвело на него впечатление.

– Это мне тоже интересно: почему ты смеялся... И подпиши второй экземпляр, – ворчливо сказал стармех. На него романтические звания не произвели никакого впечатления. И потом, у него болел зуб.

– Честно говорить? – спросил Левин и сощурился.

– Конечно, – сказал Вольнов, протягивая ему второй экземпляр акта.

– Я всегда смеюсь, когда чувствую себя неудобно. Это потому, что я не нахал. Но, правда, я бы очень хотел им быть. Нахалам легче живется, как говорил мой старый и мудрый дядя Изя...

«Он может говорить без всякого акцента, – подумал Вольнов. – Есть такие евреи, которые иногда специально говорят так, как он сейчас. Такие евреи очень хорошо умеют рассказывать еврейские анекдоты. Он, кажется, славный парень. Только нервный».

– Да, смех есть смех, – глубокомысленно сказал механик.

– Что ты так уставился на мои руки? – спросил Левин у Вольнова. – Думаешь, я подпишу что-нибудь не то? – Он вдруг помрачнел. – Ты мне грубил, а я шутил. Но у всего должны быть границы, ты меня понял?

– А вот слабо вам подражаться, полярные капитаны, – сказал механик добродушно и ухмыльнулся.

– Григорий Арсеньич, дорогой, не говори глупости, – по-

просил Вольнов. – А ты, Яков Левин, не мрачней. Я действительно смотрел на твои руки. Руки много говорят о хозяине... Я как раз по ним решил, что ты, должно быть, нервный.

– Ох уж эти мне домашние психологи, – сказал Левин. – Запомни, у меня не нервы, а двенадцатидюймовые троса... Ну ладно, я к тебе по делу пришел. Флагман приказал снабжение получать. Когда начнем?

– А ты из какого отряда?

– Из второго.

– Значит, вместе поплывем?

– Наверное. Так когда начнем?

– Поужинать надо, – сказал механик.

– Начальство поужинает потом, – сказал Левин и подмигнул Вольнову.

– А у тебя что, горячее есть? – спросил Вольнов.

– Наивный и оскорбительный вопрос, – сказал Левин и встал. Он был очень длинный. – Значит, сейчас я пришлю старпома за снабжением, а потом прошу ко мне вас обоих.

– Я не пью, – сказал механик. – Я теперь только наклейки на бутылках читаю.

– Прискорбно за вас, папаша, – сказал Левин. Сзади к нему подобрался Айк и ухватил зубами за край плаща. – Отпусти меня, Рыжий Мотль, – деликатно попросил Левин. И ушел.

Уже поздним-поздним вечером они вместе выпили казенного, пахнувшего бензином спирта и долго сидели потом на влажных после дождя досках у забора лесопилки. Лиловая блеклая ночь скользила над Онегой. Беззвучная и светлая, дремала вода. И озеро будто прикрыло глаза и дышало чуть приметно, покойно. Пахло свежей рыбой и крапивой. Густые заросли этой крапивы тянулись вдоль всех заборов.

Отсюда, от Онеги, начинался их путь на восток. Впереди ждали шлюзы Беломорканала, смирное летом Белое море, его ветреное, бурливое гирло; сизое и холодное море Баренца, Югорский Шар – мрачные ворота Арктики...

Они сидели, изредка перебрасываясь вопросами, не спеша узнавая друг друга...

– Ты воевал? – спросил Вольнов.

– Да. Рыбачий и Киркенес. А ты?

– Я нет. Ты с какого года?

– С двадцать шестого. – Выглядишь моложе.

– Все говорят. Это от врожденной глупости...

Черные перевернутые лодки лежали на белом песке возле берега. На их пузатых днищах ночевали чайки. Иногда то одна, то другая срывались в озерный простор и исчезали в нем.

– От этого спирта у меня всегда шумит в ушах, – сказал

Вольнов и швырнул галькой в ближнюю лодку. Галька гулко стукнулась о днище. Потревоженные чайки метнулись в озерный простор.

Левин промолчал, повернул фуражку козырьком назад. Его лицо, с мешками под глазами и темными насмешливыми глазами, подобрело от этого. Он сидел расслабившись, раскинув в стороны длинные ноги.

Далеко в озере показались огни и медленно начали приближаться, лучисто, но неярко помигивая.

– Рейсовый теплоход из Ленинграда, – сказал Левин.

– «Короленко» чапает, – сказал Вольнов. – Я ведь когда-то здесь боцманом на речном буксире плавал... Плынешь, а ивы прямо на палубу лапы тянут... И травой пахнет. За день солнце нагреет цветы на заливных лугах, а потом ночью знаешь как они здорово пахнут?

– Нет. Не знаю.

– А ты давно на море?

– В сорок восьмом я плавал уже третьим штурманом на «Рубанске». Ты, Вольнов, куришь много.

– Не больше тебя.

Левин встал и похрустел пальцами, потом опять сел и вздохнул.

Вольнов отлично понимал, что Яков совсем не хочет идти сейчас в рейс на паршивом маленьком судне, где нет даже отдельной каюты для капитана.

– Я рака боюсь, – сказал Левин.

– Его теперь все боятся.

– Да. Я, пожалуй, только рака и боюсь на этом свете...

Хотя тюрьма – тоже страшно...

Левин закрыл глаза и монотонным, казенным голосом забубнил:

– Пароход «Валерий Соколов» под командованием капитана дальнего плавания Левина, следуя из Генуи в Штеттин, вошел в Кильский канал. На борт были приняты каналный лоцман каналья Блеккер и рулевые Дирекс и Труш. Далее судно следовало по указанию лоцмана. На мостике были капитан, вахтенный второй штурман Водкин (не пьет совершенно!), матрос первого класса Ухо. Когда пароход находился в уширенной части канала (фрицы обзывают ее «Гросс-Нордзее») ... Ходил каналом?

– Нет.

– ...был услышан сигнал «один продолжительный, два коротких и два продолжительных» английского судна «Исаак Картер», имеющего на борту четыре тысячи пятьдесят тонн бумажной массы. Судно следовало из Лондона в порт Гефле под командованием капитана Лэнгрей, имеющего «сертификат мастера заграничного плавания» ... Как ты понимаешь, он меня обогнать хотел. Я застопорил ход и положил руль лево на борт. Он дал узлов десять и стал обходить меня. Запомни: в Кильском канале нельзя ползть быстрее восьми. Волной от этого «Исаака» нас развернуло поперек канала. И здесь я сделал глупость: положил руль на борт и дал пол-

ный ход вперед. Я думал, что на полном ходу смогу все-таки вывернуть судно. Но не смог этого. Ошибся на три-четыре метра. Да, и в самый этот моментик я первый раз услышал этот запах, запах тюрьмы. Прямо над водой канала потек запах портянок, непросушенных деревянных полов и хлорной извести... «Исаак» ударил нам в правый борт. Пробоина ниже ватерлинии. Пароход стал крениться. Машинная команда, несмотря на воду, которая хлестала в машину, в течение двух минут успела стравить пар, предотвратить взрыв котла и закрыть клинкет в коридор гребного вала... Это Валька Иванов – он у меня стармехом был. А крен все увеличивается. Я спустил шлюпки и приказал завести швартовы на деревья – благо берег близко. Но пока их заводили, главная палуба и грузовые люки на крене ушли в воду... Единственное счастье – люди не погибли. Но пока машинная команда в машине сидела – а там пар гудит как черт те что! – за эти две минуты я чуть головой рубку не пробил: так подпрыгивал...

Левин сплюнул и попросил спичек.

– Тебе не холодно в этих туфлях? – спросил Вольнов.

– Нет. Первый суд был в Киле – открытое заседание Морского суда Фленсбурга. Там действия немецких лоцманов и их вину разбирали. Потом суд в Лондоне – разбирали виновность капитанов и экипажей. Признали виновными обоих. И меня, и Лэнгрея. Ну а потом был суд в Одессе. Это уже надо мной персонально. Знаешь эти допросы: «Подпишите здесь... нет-нет: внизу каждой страницы...» И все с таким

проницательным видом на морде, – следовательно молодой и многозначительный болван...

– И сколько тебе дали?

– Два. Условно. Учитывая... принимая во внимание... и так далее. Очень повезло. Ну и – понизить тарификацию. Вот я и у вас. И для начала долбанул тебя в борт... А на все время следствия я бросил курить: чтобы продемонстрировать самому себе свою выдержку и волю. – Здесь Левин засмеялся, легко и весело. И Вольнов почувствовал, что от него не ждут ни соболезнований, ни утешений.

– Главное – натошак не курить, – сказал Вольнов и вдруг почему-то опять вспомнил свое детство. Он начал курить лет в тринадцать. От табака кружилась голова. Дым убивал серость и беспросветность голодной военной жизни. Это были прекрасные минуты, хотя потом и мутило. И, чтобы не заметила мать, надо было жевать горькие листья мяты... Он вспомнил еще вечер в Ленинграде году в сорок четвертом и себя на углу Садовой улицы и Невского. Он только что посмотрел «Малахов курган». В этой картине матросы с гранатами у пояса один за другим бросались под немецкие танки, а до этого танцевали танго с единственной девушкой-сандружинницей в разрушенном здании. А до этого еще там погибал эскадренный миноносец, и его командир – Крючков – последним прыгал за борт, поцеловав на прощание леерную стойку своего корабля. И вот после этого кино маленький Вольнов вышел на Невский, угол Садовой, весь дрожащий

от возбуждения и купил у безногого инвалида две штучные папиросы. Кажется, по рублю штука. Тогда раненые часто продавали папиросы. И курил – хилый, слабый, синий от холода...

И все закружилось вокруг – затемненные черными кругами фонари, понурые, уставшие люди, тяжелые, в оспе от снарядных осколков дома и бесконечные трамвайные рельсы. И он почувствовал внутри себя огромную силу какой-то красоты, что ли; и любви к людям, и холодящего мужества, и ненависти к тем, кто убил его отца. И так хотелось самому броситься под немецкий танк с гранатой у пояса. Наверное, именно тогда он и решил, что школа юнг – единственное на свете место, которое подходит ему... Он, конечно, высосал обе папиросы подряд, от него дико разило табачищем, но дома мать ничего не сказала. Да и что она могла сказать? Каждой матери рано или поздно приходится увидеть, как сын в первый раз закурит или нальет себе водки в стакан. Каждой.

– Ты женат, Вольнов? – спросил Левин. – Нет.

– И не был?

– Нет. – Вольнов отвечал машинально. Он все думал о чем-то прошлом, уже заплывшем, как след топора на старой сосне.

С озера задул слабый ветер. Он принес с собой холодок остывающей воды. Серые силуэты сейнеров у длинной и ровной полосы причала чуть приметно задвигались. Они задвигались сонно и неохотно. Они, наверное, понимали, что впе-

реди дальняя дорога и нужно хорошенько отдохнуть перед ней.

И вдруг, глядя на эти спящие суденышки, Левин тихо сказал:

– Нужен покой и порядок в мире. Нужен покой. Вот мы уже начинаем летать на другие планеты, а на своей еще нет порядка.

– Не понимаю.

– Очень просто... Сейчас на Земле полно неврастеников. Почему? Давай разберемся. Наши мозги остались такими же, как триста или тысячу лет назад. Ведь ты не скажешь про себя, что ты умнее древнего грека? Его и твои мыслительные способности остались теми же, а жизнь планеты усложнилась до чертиков... И мы, наверное, где-то все время ощущаем свою ограниченность. Это-то нас злит и нервирует.

– Нет, – сказал Вольнов. – Все мы больны только тем, что не умеем наладить свою собственную жизнь. Отсюда и раздражение. В масштабе мира – рано или поздно наладим, а вот свою – фиг... Таланта нет, что ли...

– Всегда перед уходом в новый путь у меня какое-то особое настроение, – сказал Левин. – Отъезды и приезды подводят черту чему-то в жизни. С этих рубежей яснее видно прошлое и больше хочется от будущего. Я люблю уезжать.

– Это многие любят, – сказал Вольнов.

– Многие не любят проводов и встреч на перронах и причалах, – продолжал Левин. – Иногда нужно быть одному,

чтобы чувствовать что-то в полную силу... И вот сейчас я думаю о том, что ты сказал о неумении строить собственную свою жизнь. У меня есть жена. И дети. Двое детей. Наверное, это хорошие дети, я люблю их, хотя почему-то от них всегда пахнет леденцами. И у меня очень хорошая жена. Очень. Хотя почему-то в каждом ящике комода у нас есть ключ. И ключ торчит. Он ничего не запирает, но он есть, и он торчит. Как тебе это нравится?

– Н-нда, – неопределенно сказал Вольнов. Он не знал, нравится ему это или нет.

– Она святая женщина, но я ужасно люблю уезжать от нее.

– Все ясно, – уклончиво сказал Вольнов. Он плохо ориентировался в супружеских делах и побаивался судить о них.

Левин вздохнул и почесал затылок. Оба замолчали, глядя на озеро. Озеро тоже молчало. Оно совсем онемело в этот лиловый ночной час. И даже ветер теребил его беззвучно, как вату. И так же беззвучно шевелились под этим слабым и мягким ветром уже начинающие по-летнему сидеть верхушки крапивы в канавах. За оградой лесопилки прошли к цехам какие-то незнакомые люди – парень и девушка.

– Да ты не бойся, Иваныч уже спит, – торопливо шептал парень. – Он печь в дежурке и летом топит, тепло там, Маруся... Да не обижу я тебя. Маша, ты не бойся... Ой же точно говорю, не обижу... Точно говорю... Точно... А у тебя плечо знаешь какое холодное... Ну-ну, брось, Маша...

И тихий смех. Женский. Прерывистый. И чем-то жалкий.

Но все равно теплый какой-то, от которого улыбнуться хочется. А может, и плакать хочется.

«У нее, верно, платочек на голове, – подумал Вольнов. – И она этот платочек за уголки на плечи тянет. И локти к груди прижимает... И хорошо ей, и боязно... А потом задышит часто, и все кончится... Останется еще рассветный холодок, отчуждение парня, и раскаяние, и слезы еще останутся».

– Кто-нибудь из матросов с нашего перегона, – сказал Вольнов, кивая на забор. – Наверное, про океаны ей весь вечер рассказывал. Про то, как во льды пойдет. Кого только на такие штуки не покупали.

– Кто сказал, что женщина – великая утешительница? – спросил Левин, снимая туфли и вытряхивая из них песок. – От женщин только всякие сложности в жизни. Но все равно мы с тобой в Архангельске сходим к одной. Она все ищет чего-то, и ей слишком часто бывает скучно, как говорила одна моя прабабушка по материнской линии.

– Надо на стоянке одного вахтенного на два судна держать, – сказал Вольнов.

– У тебя механик хороший? – спросил Левин.

– Длинная история, – сказал Вольнов. – Не знаю я еще, какой он механик. Первый раз вместе поплывем.

– Я думал, вы давно знакомы.

– Это вообще-то так...

Вольнов не знал, стоит ли рассказывать сейчас Левину про Сашку Битова, про парнишку, с которым они вместе пережи-

стили столько тонн картошки в Балтийском экипаже, с которым вместе стояли первые вахты, вместе стирали брезентовые, негнущиеся робы на базовом тральщике...

Тральщик ходил на боевые траления к норд-весту от Голланды. Недели монотонных галсов... От мыса Саарема до косы Крюпикари... Боже, сколько там насовали мин! И магнитные, и акустические, и еще образца четырнадцатого года, это якорные, с рогами, как рисуют на всех картинах... «Боевая тревога! Ток в трал!...» Парные траления: два тральщика, между ними в воде широкая дуга электрокабелей. Галс за галсом... Всплывают и пропадают красные тела буйков... И уже совсем не думаешь, что раз за разом идешь над минами. Привычка. Можно привыкнуть ко всему, так устроен человек. А сначала было страшно. И Сашке тоже. Он говорил, что у него в животе булькает, когда трал пересекает минреп якорной мины.

А на ночных вахтах Сашка говорил о книгах и о «Государстве и революции» Ленина. Сашка был первым, кто приохотил его к таким серьезным книгам. Но как же они ничего не понимали тогда! «Слушай, вот Ленин пишет, что государство – аппарат насилия, а ведь у нас сейчас тоже есть государство – значит, мы кого-то насилуем, так или не так?» Сашка смеялся, он был куда умнее тогда и старше, хотя и одногодок по возрасту. Он мечтал пойти учиться на философский факультет университета. И они даже иногда отказывались от увольнения на берег, сидели и занимались: надо

было закончить десятилетку.

Корабль подорвался и затонул в две минуты. За пять минут до этого Сашка спустился в носовой кубрик. Они поспорили о том, бывает чувственная философия или нет. И Сашка пошел за каким-то словарем.

Был штилевой закат и тишина над Финским заливом, они возвращались с тралений в Кронштадт. Сработала донная акустическая мина. Все очень просто и быстро – искры летят из глаз, и летишь куда-то сам, и все это в абсолютной тишине. Вероятно, глухнешь еще до того, как грохот дойдет до сознания. Спаслось двенадцать человек – только те, кто был на мостике и на полубаке.

Тральщик уходил в воду кормой. В коридоре носового кубрика стояло оружие. Вероятно, винтовки от сотрясения вылетели из пирамиды и перегородили коридор.

В носовом кубрике так и остались все, кто там был.

Из иллюминаторов торчали их головы. Плечи не могли пролезть в иллюминаторы, а в кубрик уже врывалась вода. Там остался и Сашка...

– Мой старший механик до войны плавал на «Моссовете», – сказал Вольнов. – В день начала войны они разгружались в Гамбурге. Их, естественно, интернировали. Потом четыре года в немецких лагерях, год – в американских. Я с ним в Таллине познакомился, в Кадриорге, возле памятника «Русалке». Сидит человек и плачет. Он больной очень, сердцем. В море его не пускали. И оказалось – он отец моего

старинного друга. Вот как бывает, Яков Левин.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.